

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ВАДИМ КОЖИНОВ

### Глава 14

#### Русская Идея (окончание)

В 1965 году состоялось ещё одно знаковое событие для общекультурной жизни советского государства: страна впервые всенародно отметила юбилей Сергея Есенина – семидесятилетие со дня его рождения.

Десятью годами ранее был издан есенинский двухтомник, мгновенно исчезнувший с книжных прилавков. В самом начале 1960-х годов после тридцатипятилетнего перерыва (!) было выпущено пятитомное собрание сочинений поэта. И, наконец, его имя официально стало именем классика отечественной литературы (притом, что в народе это имя Есенин обрёл давным-давно – когда его стихи переписывали от руки по всей стране в никогда не учтённом и не могущем быть учтённым количестве экземпляров). Родительский дом Есенина в Константинове официально обрёл статус музея и стал местом ежегодного паломничества, газеты и журналы наперебой печатали статьи и заметки о поэте, его прижизненные фотографии. А по радио звучали “Клёны мой опавший...” и “Письмо к матери” на музыку Василия Липатова из его фортепианно-вокального реквиема “Соловьиная кровь” (композитора не стало в 1965 году) и – совершенно неожиданно для слушателей – “Шёл Господь пытаться людей в любви...” на музыку Георгия Свиридова.

Далеко не всем – в том числе из кожиновских знакомых – этот праздник пришёлся по душе.

“Любимый поэт таксистов”, – фыркал Борис Слуцкий, по ходу дела в разговорах цитируя Шкловского: “Беда Есенина в том, что искусство явилось для него не отраслью культуры, не суммой знания-умения, а расширенной автобиографией”. (Кожинов на это позже ответит: “Есенин обладал такой богатой, сложной и по-своему цельной поэтической судьбой, которой очень не хватало многим его образованным современникам... С другой стороны, он имел достаточно знаний интеллектуального характера, достаточно для создания той великой поэзии, которую он мог и должен был создать... Думать, что культура измеряется количеством интеллектуальных знаний – значит волей-неволей приходиться к выводу, что все Сальери мира – люди более высокой культуры, чем Моцарт...”)

... Этот праздник вообще заставил задуматься о многом. Прежде всего, он заставил многих и многих людей заново вчитаться в Есенина, а заодно и подумать: что значит его судьба на катастрофическом переломе времени, какой смысл имеет она для наших дней, в чём, наконец, смысл той **революции**, торжественный полувековой юбилей которой всё более неумолимо приближался...

И, наконец, с полным правом (как будто заново обрётённым именно в связи с Есениным) люди начали говорить о нём как о великом русском поэте. Не советском, а именно русском. Соответственно, и в разговорах о современной поэзии разделяя понятия “советская” и “русская”.

А за полгода до есенинского юбилея в 5-м номере “Молодой гвардии” появилось открытое письмо “Берегите святыню нашу!” за подписью Сергея Коненкова, Павла Корина и Леонида Леонова с эпиграфом из Пушкина: “Неуважение к предкам есть первый признак дикости, безнравственности”.

“... В последние годы довольно усердно производится разгром памятников нашей национальной старины. Мало того, что многие первостепенные памятники истории оставлены без охраны, без какой-либо государственной поддержки, полностью или почти полностью сняты с “казённого довольствия”, но зачастую они просто превращены в щёбёнку, в щепу, в утиль. Мы потеряли необычайно большое число образцов зодческого искусства, обладавших значительной художественной и исторической ценностью. В редакции газет и журналов, в адрес общественных деятелей, писателей и художников приходят многочисленные письма наших современников и патриотов с требованием остановить, пока ещё не поздно, уничтожение вещественных реликвий былого народного величия и вековой славы нашего народа.

Ни для кого не секрет, что на Севере разбираются на дрова, летят в топки паровозов, полыхают яркими кострами на лесосеках маленькие деревянные шедевры, создания безымянных предков, самородных русских зодчих. Гибель этих творений человеческого гения проходит в тишине, как явление вполне законное и закономерное. Если время от времени вспоминается у нас двадцатидвухглавый собор в Кижях, произведение хрестоматийное, вошедшее во все истории искусств, то никто и никогда не вспоминает о гибели подобного ему Вытегорского собора, судьбу которого также разделили сотни и сотни памятников...

Мы должны встать на борьбу с ханжеским мнением ограниченных людей, будто церкви и другие культовые здания — объекты только религиозного значения, что под золотыми куполами содержится лишь “опиум народа”, потому что их создатель — русский крестьянин — в доступной ему форме запечатлел в них труд, страдания, жертвы, ум, отвагу и подвиг народа, в этих зданиях высочайшее для каждой эпохи проявление художественного творчества нации. Некоторые пытаются также оправдать снос памятников некими экономическими причинами, в частности, это относится к положению в Москве. Мы понимаем, что население города растёт, изменяется, он ширится, меняет одежду, но взглянуть, как уже обезличена наша столица. Прекрасно видна абсолютная бессмыслица большинства сносов (а в Москве снесено более 400 памятников!). Архитекторы-планировщики, создавая проекты застройки города, при которых гибнут или заслоняются башнями из стекла и бетона памятники, должны сохранять творения, пускай безвестных, русских плотников и каменотёсов. Пусть эти старинные камни станут жемчужинами в оправе современных построек — они лишь усилят исторически гармоничный ансамбль старого и нового. Видимо, вопросами застройки городов нередко занимаются у нас случайные, прохожие люди.

Наша гордость и святыня должна быть спасена. Надо воспитывать в детях наших любовь и уважение к дедам и прадедам, наполнять душу ребёнка чувством патриотизма, чувством уважения к каждой крупинке памяти о пращурах наших, о прошлом России.

Культурное наследие должно бережно сохраняться, пропагандироваться, становиться органической частью нашего бытия.

Из души, из сердца каждого русского человека исходит требование: “Остановитесь! Берегите нашу святыню!”

Борьба общественности против хрущёвского вандализма длилась уже несколько лет. Ещё в марте 1962 года в журнале “Москва” было напечатано письмо в защиту уничтожаемых памятников архитектуры “Как дальше строить

Москву?”, подписанное группой энтузиастов (в частности, художником А. А. Коробовым и членом Советского Комитета защиты мира В. П. Тьдманом). Газета “Правда” ответила уничтожающей статьёй, был вышвырнут из редакции журнала заместитель главного редактора – талантливый поэт Василий Кулёмин, скончавшийся после этого от инфаркта, – и разрушение того, что осталось от старой Москвы, продолжалось... Новое послание с требованием остановить это варварство, написанное неумолимым борцом за сохранение храмов и исторических зданий Петром Дмитриевичем Барановским и его единомышленниками, вручил Илья Глазунов Сергею Михалкову для передачи первому секретарю ЦК КПСС. Хрущёв, жаждавший извести под корень в стране всё, что было связано с именем его предшественника (включая частичную реабилитацию Русской Православной Церкви в военное и послевоенное время), жаждавший в год “наступления коммунизма” показать по телевидению “последнего попа”, назвал православные храмы “спасами на яйцах” и отказался вообще продолжать разговор на данную тему. 11 апреля 1964 года художник и искусствовед Владимир Десятников записывал в свой дневник:

“По студенческой Москве прокатилась волна вечеров, посвящённых охране памятников истории и культуры. Такой всплеск гражданской активности во многом вызван тем, что Главное архитектурно-планировочное управление столицы (Посохин-Пейсохин), выполняя социальный заказ по реконструкции города, планомерно ведёт работу по сносу старинной застройки и, в первую очередь, церковей. По Хрущёву, грядущий коммунизм возможен только в атеистической стране... Богоборчество – один из главных козырей в идеологической игре Хрущёва. Всем памятно его обращение к Гагарину: “Как, Юра, видел Бога на небесах?” На свой вопрос Никита сам же и ответил: “Бога нет! Без Бога – шире дорога!” В городах и сёлах под разными предлогами закрываются церкви, в которых чаще всего теперь открываются автотракторные мастерские, склады, магазины, клубы. То, что гибнут бесценные сокровища – фрески, иконы, книги, шитье, скульптура, наконец, колокола, – мало кого волнует. В Карелии один из районных уполномоченных Комитета по делам религий и вовсе отличился. Собрал из окрестных сел и деревень сотни икон и в назидание подрастающему поколению сжёг на школьном дворе. Отличившегося уполномоченного на зависть коллегам с повышением перевели на другую работу. О чудовищном вандализме никто из власть предержащих и не задумался. А ведь среди сожжённых икон наверняка были шедевры кисти безвестных русских гениев. Увы всем нам! Повсеместно парткомам была дана команда принимать самые решительные меры против тех сотрудников “государственного аппарата на местах, министерств и ведомств Москвы, кто даёт послабку в своих семьях, не противится религиозному дурману. Введена обязательная запись паспортных данных и места работы обоих родителей, желающих окрестить своего ребёнка. Священник обязан о совершенном таинстве крещения письменно оповещать местного уполномоченного Совета по делам религий, а тот, в свою очередь, сообщает об этом по месту работы родителей. Круг замкнулся... Впрочем, молодёжь на мякине не проведёшь. Как мне доподлинно известно, по отчётам библиотек, подведомственных Министерству культуры, количество затребованной в читальных залах церковной литературы (включая Евангелие, Жития святых и пр.) возросло в несколько раз...”

А 4 июня в “Комсомольской правде” появилась статья журналиста Василия Пескова “Отечество”:

“На столе у меня письмо. Пишет Ольга Юрьевна Д. из Рязани. “...Сын у меня не хуже других – начал работать, а сейчас и в школу вернулся в девятый класс... Написать я решила после вчерашнего разговора. Пришёл приятель Володи. Взялись чинить приёмник. Я прислушалась, о чём говорят, и вмешалась. “Родина, говорю, ребята, – это самое дорогое для человека”. А они засмеялись: “Родину, мама, сентиментальные люди придумали. Жить везде хорошо, где хорошо живётся. Везде солнце одинаково светит...”

Ночь не спала. Надо было объяснить ребятам что-то важное, но я не смогла и потому решила вам написать”.

Умное взволнованное письмо. У таких матерей дети, в конце концов, вырастают хорошими людьми. Но тревога у матери не напрасная. Что же такое Родина для человека?

Родина – это очень много. Это и тропинка с бродом через ручей, и странство в одну шестую всей земной карты. Это самолёт в небе и птицы,

летающие на север над нашим домом. Родина — это растущие города и малые, в десять дворов, деревеньки. Это имена людей, названия рек и озёр, памятные даты истории и планы на завтрашний день. Это ты и я с нашим миром чувств, нашими радостями и заботами.

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И всё, что мы делаем доброго, прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет корни. Без корней его повалил бы даже несильный ветер. Корни питают дерево, связывают его с землёй. Корни — это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. Это наша история. Это наши деды и пращурь. Это их дела, молчаливо живущие рядом с нами в степных каменных бабах, резных наличниках, в деревянных игрушках и диковинных храмах, в удивительных песнях и сказках. Это славные имена полководцев, поэтов и борцов за народное дело...

Полвека назад многие думали, что всё это лишнее. “Груз прошлого — вон с корабля!” В прошлом было действительно много такого, от чего в новом мире надо было избавиться. Но оказалось, не всё надо сбрасывать с корабля истории. В крутые годы войны мы призвали на помощь себе наше прошлое. “Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!” Нас вдохновляли эти великие имена! Прошлое стало оружием. Силу его никто не измерил. Но можно сказать, что была она не слабее знаменитых “катюш”...

Мне было двадцать лет, когда на первую получку я приехал из Воронежа поглядеть на Москву. И рано утром с поезда пошёл на Красную площадь. Я слушал, как бьют часы. Хотелось рукой потрогать кирпич в стене, потрогать камни, выстилавшие площадь. Было такое чувство, что я сделал что-то главное в жизни... Можно ли представить эту площадь без храма Василия Блаженного?

Скажу сейчас об удивительном факте. Я бы сам не поверил, если бы не услышал это от человека, всеми глубоко уважаемого. Вот что рассказал Пётр Дмитриевич Барановский, лучший реставратор памятников нашей старины: “Перед войной вызывают меня в одну высокую инстанцию. “Будем сносить собор, просторнее надо сделать Красную площадь. Вам поручаем сделать обмеры...” У меня тогда комок в горле застрял. Не мог говорить, не мог сразу поверить... В конце концов, чья-то не известная мне мудрость остановила непоравимое действие. Не сломали...”

Песков писал не только о памятниках — он обращался ко всей истории Отечества, её незаменимости в воспитании подрастающего поколения. И это обращение своей тональностью и смыслом было поистине в тогдашнем времени (неумолимо переламывающемся, но этого перелома большинство ещё не ощущало) неким серьёзным нарушением “революционных приличий”... Мгновенно последовал ответ: по рукам в неучтённом количестве экзemplаров пошло письмо “К вопросу о воспитании советского патриотизма” Ивана Михайловича Данишевского, адресованное “Комсомольской правде”.

Это была весьма примечательная личность. Родившийся в конце XIX века выходец из еврейской семьи, бывший эсер, ставший большевиком, заслуженный чекист, возглавлявший во время крымских расстрелов 1920 года (общее количество жертв приближалось к двадцати тысячам) “тройку” в Феодосии, сталинский зек, отбывший почти полтора десятка лет на Колыме, — он “накатал” вдохновенный текст, подобный “Не могу молчать!” У заслуженного во всех отношениях гражданина не выдержало ретивое: орган Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи выдвигает программу воспитания молодого поколения в “антиреволюционных” традициях... А тут ещё и вспомнилась частичная реабилитация отечественной истории при ненавистном Сталине... Ну, как можно было сдержаться и не заявить свой протест!

“Когда в связи с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз ждали выступления по поводу войны, чего ждал от него весь мир? Ждали, что звериному национализму немецко-фашистских разбойников будет противопоставлено развёрнутое знамя революционного пролетарского интернационализма... Но... произошло нечто иное. Имя Ленина было упомянуто мельком. Главное же — в нафталине истории России, по архиреакционному царскому историку Иловайскому... была извлечена плеяда “наших предков”, достаточно

респектабельных, чтобы быть противопоставленными “предкам” Гитлера... Одним таким выступлением, одним своим призывом “вдохновляться мужественным обликом” царских сатрапов перед всем миром было продемонстрировано стремление повернуть ход борьбы с классовых позиций на почву националистическую... Было бы неправильно утверждать, что знаменитый призыв “Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный облик наших великих предков – Александра Невского и т. п.” – вообще не сыграл никакой роли. Нет сомнения, что в нашей стране нашлись людские прослойки, для которых этот призыв звучал вдохновляюще. Но что это были за прослойки? У нас были и прослойки, искавшие вдохновения в годы войны в елейной проповеди в церквах. Нет сомнения, что и за рубежами нашей Родины внимательно прислушивались к такому манифесту страны, которой опасались как оплота, как глашатая совсем иных призывов, боевых, ещё не забытых со времён В. И. Ленина, со времён Великого Октября и гражданской войны. Многие за рубежом готовы были аплодировать такой смене призывов...”

С сожалением прерываю дословное цитирование этого замечательного документа, дальше идёт ещё много интересного – вплоть до почти забытых с начала 1930-х характеристик героев русской истории: “Суворов – крупный царский полководец-рабовладелец. Он прославился своим умением вести своих солдат-крепостных на смерть, на муки и лишения ради интересов своих угнетателей-рабовладельцев... по царскому приказу отдавал свой военный талант на кровавое усмирение восставшей Польши... Следует ли нам, строителям коммунизма, вдохновляться и вдохновлять других его “мужественным обликом”?.. А Кутузов был типичным генералом-крепостником... Для “народолюбца”-Кутузова вооружённый крестьянин-крепостной был опасен и страшен...” Упоминание Песковым о царяине на полу храма Василия Блаженного, “быть может, нанесённой посохом Ивана Грозного”, буквально вывело старого большевика из себя: “...Его нимало не волнуют и не интересуют не царяины царского посоха, а зарубки царских топоров, следы работы царских палачей на расположенном рядом месте массовых казней – “Лобном месте”...” (заслуженный чекист даже “Историю России в самом сжатом очерке” Покровского не удосужился как следует прочесть: Лобное место предназначалось для оглашения царских указов – смутьянов казнили на столь любимой нашими современными либералами Болотной площади). Выраженное Песковым сожаление о переименовании Охотного ряда в “проспект Маркса” ещё более повысило градус возбуждения ветерана: “Автор не может не знать, что Охотный ряд был логовом чёрной сотни, главной базой “Союза русского народа”, “Союза Михаила Архангела” и т. п. боевых отрядов верноподданных погромщиков. Само слово “охотнорядец” было синонимом тупого, заскоружлого мракобеса...”

А дальше – больше.

“Может быть, автор предложит восстановить старые “исконные” названия и других, обиженных революцией улиц в Москве, и в других городах, а заодно и названия самих городов, таких как Екатеринослав, Елисаветград, Александровск, Петроград...? Послушать Пескова – всё это надо реставрировать, “немудрый” декрет Ленина – отменить, всех, “по ошибке” революции снятых царей, князей и генералов – восстановить на пьедесталах! Так, что ли?... Церкви строились тогда не ради умиления будущих Песковых, а ради укрепления господства феодалов-крепостников, как оплоты мракобесия...”

И ведь как в воду глядел сей товарищ с богатой биографией! Не пройдёт и года, как на Ленинградском телевидении выйдет передача “Литературный вторник” с участием двух ровесников века Дмитрия Лихачёва и Олега Волкова (оба в своё время отбывали срок в Соловецком лагере особого назначения), языковедов Льва Успенского и Вячеслава Иванова, а также Владимира Солоухина и Владимира Бушина. Разговор состоялся настолько запоминющийся, что его содержание потом в течение многих лет пересказывалось стареющими очевидцами.

Вёл передачу китаист Борис Вахтин.

“**Вахтин:** Дорогие друзья! Сегодняшний наш “Литературный вторник” посвящён русскому языку, русской речи, русскому слову. Мы собрались здесь сегодня не случайно. Вы знаете, конечно, прекрасно, что несколько лет назад как бы внезапно, как бы неожиданно мы все обнаружили для себя заново

нашу Родину. Началось это, пожалуй, с интереса к иконам, с интереса к старине. Мы открыли для себя замечательную живопись, замечательную архитектуру, превосходные памятники слова. И вот на фоне этого большого интереса, а этот интерес, между прочим, сначала носил характер скорее не столько восхищения, сколько возмущения: действительно, в одном месте растащили на дрова церковь, в другом месте разобрали монастырь старинный на кирпичи, там сожгли иконы, там не сберегли рукописи... Скорее это носило характер возмущения такого... Так вот, на фоне этого интереса к нашей национальной культуре, вслед за ним, появилось особое чувство – много статей было напечатано на эту тему – такое стремление сберечь нашу природу, сберечь речь, сберечь леса, сберегать птиц, сберегать животных в наших лесах, помнить, что мы здесь хозяева, которые свою собственную землю должны беречь, иначе она разрушится, иначе она придёт в запустение...

Тысячи молодых людей, энтузиастов устремились в самые разные места... сплошь и рядом встречаешь где-нибудь в старинных русских городах молодых студентов, они не очень даже хорошо, может быть, знают старину, но тяга очень большая к этому. Между тем здесь не всё благополучно даже в этой области, в области сбережения национальной культуры. Я вспоминаю в Ярославле нынче осенью чудесную церковь Николаи Мокрого... На ней возвели леса, чтобы её реставрировать, а затем забросили эти леса. Леса стали своего рода памятником архитектуры, они так же разваливаются, как и церковь. Никто, значит, не бережёт, не следит за этим. Постепенно вот от такого интереса к материальной культуре мы переходим к тому, что, пожалуй, в культуре является важнейшим, то есть к языку, к речи нашей. А здесь тоже далеко не всё благополучно. Живая речь сейчас гораздо богаче, гораздо ярче, сложнее по составу, чем та речь, которая отражается в литературном произведении; литературная речь очень оторвалась от живой разговорной речи. Этот отрыв почти так же велик, как он был велик во времена Даля, создававшего свой "Словарь..." и очень сетовавшего на это положение...

**Лихачёв:** ...Мы не бережём язык в наименованиях. У нас очень много переименовывается. Причём я уже не говорю о том, что менять старые традиционные названия – это нехорошо, потому что мы как-то разрываем с традициями. Эти названия наших улиц, площадей, городов часто встречаются в литературных произведениях, и потом нужно гадать, о каком городе, о какой улице, о какой площади идёт речь в этом литературном произведении, искать, какой-то устраивать перевод в путеводителе. Но дело и в том, как мы переименовываем, просто иногда неграмотно, неудачно. Я бы хотел привести два примера. Так сказать, немножко забегая вперёд, но всё-таки сказать о том, что переименования, такие как Петергоф и Петродворец, – это переименования плохие с точки зрения русского языка, потому что как вы назовёте дворцы? Петродворецкие дворцы? Получается какая-то тавтология... У нас теперь Петрокрепость. Вместо Шлиссельбурга. А как вы назовёте жителей Петрокрепости – петрокрепостники?..

**Волков:** ...Достаточно сказать, что Ломоносов официально считался академиком десьянс академии, академия наук была десьянс. Ну вот, как раз, когда этому так свирепо насаждаемому офранцуживанию, онемечиванию, тому, что староверы называли обасурманиванием языка, противостояла народная традиция. Но одновременно было бы близоруко не вспомнить и значения, конечно, наряду с народным творчеством, нашей прочной христианской традиции, потому что одно то обстоятельство, что вот у нас богослужение велось на старославянском языке, понятном народу... Значит, как-то уху русского старые корни, старые славянские слова не оставались чуждыми, он был приобщён к ним, потому что слышал понятное. И вот это влияние церковной грамоты, оно сказывалось и на светских сочинениях очень поздно, даже, я думаю, можно в начале XIX века проследить. В замечательнейшем русском памятнике письменности... в "Житии протопопа Аввакума" особенно интересно прослеживаются блёстки народного языка, такие драгоценные камни прямо вправлены в прочную ткань прозы образованнейшего церковника XVII века. Я позволю себе прочесть несколько коротких строчек из "Аввакума" как раз потому, что вы знаете Аввакума. Ведь читали и перечитывали его Достоевский, и Тургенев, и Толстой, Лесков, знали его и всегда черпали в нём что-то. Так вот, он говорит о суетности человека, который не способен удовольствоваться тем, что у Христа того света наделано для человеков. И протопоп,

значит, пишет про нас, грешных, конечно: “Скачет, яко козёл; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съестъ хошет, яко змия; ржёт зря на чужую красоту, яко жребя; лукавует, яко бес; насыщался довольно; без правила спит; Бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не вем, камо отходит: или во свет ли, или во тьму — день судный, коегождо явит”... Так вот я и хочу сказать, что вот эта связь с церковно-славянским языком и народные традиции были теми столпами, которые помогали русскому языку отбиться, так сказать, от нежелательных влияний. А сейчас я считаю, что этих опор нет, не говоря о том, что мы начисто отрешены от церковно-славянского, но и от народных традиций. Вот фольклор, вряд ли он может считаться, что он на такой народной основе, потому что, скажем, песни Киреевский сейчас бы не пошёл собирать в деревню, а ему пришлось бы просто пойти в Союз писателей и спросить адреса штатных песенников, которым эти, понимаете ли, песни отсюда туда даются. Потом, ну, в каких-то медвежьих углах, может быть, сохранились, но радио и газеты всё это дают отсюда, от нас, из города, идут, так сказать, языковые навыки, словарь и всё туда... И мне кажется, что наша задача, писателей, это как раз... углубляться в классическое наследие, может быть, знакомиться со словарём агеографической литературы, то есть вот с житиями святых, летописями, и там черпать старые, ёмкие, хорошие слова, обороты и приучать наших редакторов, кстати, чтобы они не шарахались от таких слов...

**Вяч. Иванов:** ...Мы ещё многого не знаем и плохо знаем из того, что было в последующие годы, скажем, у Андрея Платонова, у Булгакова, в его прозе. У нас часть прозы 30-х и 40-х годов находится ещё в запасниках, как говорят в музеях, и постепенно только начинает это обнародоваться, и мы уже видим, как много было у Андрея Платонова такого. И наконец, мне хочется сказать о Солженицыне. Мне кажется, что это изумительное явление в нашей новой литературе замечательно и воскрешением, причём по-новому, вот этой сказовой традиции. У Солженицына и в “Матрёнинном дворе”, и в “Одном дне Ивана Денисовича” мы слышим этот живой голос современных людей и осмысление всего исторического опыта, просветлённое духовностью, свойственной русской литературе. Оно сказалось в самом словаре, в говоре, в построении фразы, в отсутствии этой скованности и стандартности. Вот таковы все большие русские писатели. Поэтому русская литература велика и тем, что она непрерывно связывает русскую речь, которая живёт в повседневном обиходе, и язык письменной русской литературы. Такова и русская поэзия. Мандельштам в своих статьях о поэзии писал, что все большие русские поэты способствовали обмирщвлению языка, язык становился всё ближе к обычной разговорной речи. И это действительно так. Так что я думаю, что одна из самых больших заслуг русской литературы перед Россией состоит в постоянном внимании к живому русскому слову...

**Бушин:** ...Обеднение нашего языка происходит и из-за того, что на протяжении вот уже многих десятилетий с большим рвением искореняются старинные, колоритные, поэтические названия городов и улиц. Делается это бесхозяйственно, безответственно, а главное, без всякой на то нужды. Мне довелось в конце октября прошлого года в “Литературной газете” опубликовать статью “Кому мешал Тёплый переулочек?”. Статья вызвала многочисленные и весьма заинтересованные отклики читателей. Я позволю себе выдержки из некоторых писем здесь процитировать. Товарищ Куприяновский из Ивановки пишет: “Чехарда с переименованиями — это не игра и не безвинное занятие. Нередко это проявление нигилизма и равнодушия к прошлому, к исторически сложившемуся укладу жизни. Это эгоистическое самоутверждение современников, которым нет дела ни до пращуров, ни до своих потомков”. Ленинградский инженер Добросердов пишет: “Родину, родную землю стремятся выбить у меня из-под ног необдуманно переименованиями. Задумываются ли люди, заменяющие устаревшие, по их мнению, названия новыми, о том, что наступит время, когда эти новые названия тоже станут старыми. И если следовать подобному правилу, они тоже будут переименованы. Что же после таких бесчисленных переименований останется исторического?” Профессор, доктор технических наук ленинградец Синевский пишет: “Только тем, что у мудрости есть пределы, а противоположность её безгранична, можно объяснить переименование таких городов, как Тверь, Вятка, Пермь, Нижний Новгород, Самара, — городов, стоявших у истоков русской истории”. Старый большевик Трофимов, тоже

ленинградец (здесь письма, я старался, чтобы ленинградцы были) пишет: “Это переименование городов напоминает их раздачу. Помните, в исторической песне “Ой, и делалось в орде...”: Сидит там царь, Озвяг Таврунович, // Царь дарил городами стольными // Василья – на Плесу, Гордея – в Вологде, Охромей – в Костроме”... Но и он, добавляет товарищ Трофимов, отдавая эти города на прокорм, не калечил их имён... Москвичка Морозова пишет: “Самару, Нижний Новгород, Тверь, Вятку, Сталинград мы должны иметь. В Москве должны быть площади Театральная, Кудринская, Калужская. Должны быть улицы Тверская, Поварская, Моховая, Остоженка, Пречистенка”.

**Ироническая реплика:** Это какие-то отсталые люди, старого закваса – или легкомысленные.

**Реплика:** Пенсионного возраста.

**Бушин:** Да, но вот передо мной ещё одно письмо. Его заключительные строки таковы: “Считаю, что прежнее название нашего города ничем не опорочено, а наоборот, вошло в историю как принадлежащее городу с большим революционным прошлым, мы, старые коммунисты-самарцы, выступаем за то, чтобы вернуть нашему городу его прежнее имя Самара”. И под этим письмом 33 подписи старых коммунистов, в основном это члены партии с 17-20-х годов, а есть даже среди них член партии 1904 года, и есть среди них член партии с 20-го года, Герой Советского Союза Конеv... С особым тщанием уничтожаются названия, имеющие, так сказать, религиозное происхождение. В Москве комиссию по переименованиям возглавляет секретарь исполкома Моссовета товарищ Пегов. Он печатно провозгласил намерения этой комиссии: истребить в Москве все улицы, напоминающие о церквях. Но если товарищ Пегов так боится всего лишь словесного напоминания о церквях, то ему, если он хочет быть последовательным, надо бы прежде завершить уничтожение в Москве самих церквей – Кремлёвских соборов, Василия Блаженного, Ново-Девичьего монастыря, Андроникова. Потом ему следовало бы добиться принятия закона об обязательной смене фамилий религиозного происхождения, ибо людей с такими фамилиями несравненно больше, чем улиц с аналогичными названиями. Один Олег Попов чего стоит. Его имя...

**Солоухин:** Вознесенский.

**Бушин:** Вот я и хочу сказать. Его имя на устах у миллионов, имя Олега Попова. Под действие этого закона попали бы, помимо Олега Попова, скажем, поэт Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и ваш ленинградский поэт Рождественский. Попал бы под действие этого закона и присутствующий здесь писатель Успенский, ибо фамилия Успенский – тоже религиозного происхождения. Только после принятия этого закона, и не раньше, есть смысл приняться за улицы и переулки. Только после этого...”

Потом на обсуждении этого события (телепередача шла в прямом эфире) в Комитете по радиовещанию и телевидению Совета министров СССР было заявлено, что это была передача, “сомкнувшая фронт тех, которые ведут атаку на политику нашей партии по литературе и другим каналам”; что “в Ленинграде делалась попытка атаковать под видом защиты нашей старой культуры то, что утверждается”; что “любое иностранное агентство взяло бы эту передачу и пустило бы в эфир”; что “это реванш ленинградцев за всё!” (запомним эти слова! – **С. К.**), что “эта передача произвела впечатление хорошо организованной вылазки, потому что здесь была полная спайка... Здесь был организованный подбор и организованные единомышленники, которые отыгрались за всё, что они слышали о себе на конференциях. Ведь взгляды большинства выступавших известны давно. Если говорить с партийно-литературоведческих позиций, то это просто антипартийная передача...”; что “эта передача политическая, но она пропагандирует политику, противоположную нашей партии... Это диверсионная вылазка идеологических противников”, “идейная вылазка, направленная против самих основ нашей идейно-политической жизни”, “нанесено огромное оскорбление нашему народу”; что “это махровое славянопятство... Смысл сводился к тому, чтобы вспясть отойти от всего, что завоевано”; что “это была шовинистическая передача, и в ней шовинистические, великодержавные мысли”; что Волков “перешёл границу”; что выступление Бушина было “политически вредное”, “хулиганское” и оно “не должно было появляться на экране Ленинградского телевидения”... Была также подготовлена Записка Отдела пропаганды и агитации



ЦК КПСС с соответствующим текстом: “Участники передачи (писатели Л. Успенский, О. Волков, В. Солоухин, литературоведы и искусствоведы Б. Вахтин, В. Иванов, Д. Лихачёв, Л. Емельянов) заняли в целом неправильную тенденциозную позицию”. Они “в развязном тоне потребовали вернуть прежние наименования городам Куйбышеву, Кирову, Калинин, Горькому, высмеивали такие общепринятые сокращения, как РСФСР, ВЦСПС... Выступая за чистоту русского языка, они приводили в качестве его эталона произведения Пастернака, Белого, Мандельштама, Хлебникова, Булгакова, Солженицына, цитировали протопопа Аввакума, но при этом совершенно не упоминались имена Чехова, Горького, Маяковского, Шолохова”. Под этой запиской стояла подпись заместителя заведующего этим отделом А. Н. Яковлева. Сия фамилия нам встретится ещё не один и не два раза.

Но вернёмся к письму Данишевского, с которым (едва ли зная о его существовании) выступили в унисон ответственные товарищи из Комитета телевидения и радиовещания... Ведь даже частичная, непоследовательная реставрация прошлого возбудила у заслуженного пенсионера приступы лютого гнева. Это битва за историю? Не обманывайте себя – это битва за современность. Зря, что ли, Данишевский вспомнил “прослойки, искавшие вдохновения... в церквях”? Ему послышался зов трубы “той далёкой гражданской”, вдохновлявший полвека с лишним тому назад отнюдь не только молодых “шестьдесятников”. Он ощутил себя то ли юным бойцом, рубящим “в капусту” ненавистную “контру”, то ли следователем ревтрибунала (жаль только, что эту роль приходится исполнять лишь на листе бумаги! Даром, что ещё недавно казалось: вот оно, наступили блаженные времена “ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕНИНСКИХ НОРМ”, когда за последние четыре хрущёвских года по религиозным мотивам были осуждены в уголовном порядке 1234 человека)... Но тем вдохновеннее талантливому журналисту и русскому патриоту “шьётся” политика:

“...Программа воспитания патриотизма, которую предлагает В. Песков, воспитания на умилении благолепием церквушек и малинового звона колоколов... – эта программа подходила бы для дореволюционного патриотизма господствующих классов или для “патриотических” вздохов современных вырожденцев из “перемещённых лиц” и “невозвращенцев”, из “власовцев”, которые именно о такой антисоветской, а не о нашей Советской Социалистической Родине (куда им дорога заказана) мечтают...”

Может возникнуть вполне закономерный вопрос: стоит ли уделять столько внимания посланию ничего не забывшего и ничему не научившегося революционного “мастодонта”, тем более, не “засвеченному” на страницах советской печати? Не будем торопиться. Очень многое из написанного Данишевским через некоторое время будет подхвачено и развито (правда, с гораздо меньшим эмоциональным градусом) вполне официозными советскими критиками и публицистами. А само послание ветерана в пространных извлечениях и подробном пересказе найдёт своё место “за бугром”, на страницах “Политического дневника” публициста и историка, диссидента “левого толка” Роя Медведева (по мнению публикатора, “многие положения Данишевского совершенно справедливы, он убедительно критикует ошибочность песковских позиций”) в 1972 году. О значении данной публикации именно в это время мы ещё поговорим.

... В 1964 году на встрече со студентами Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева Илья Глазунов предложил создать молодёжный клуб любителей истории и древнерусского искусства – идея была тут же поддержана Владимиром Десятниковым, Петром Барановским и Владимиром Солоухиным... “Факт сам по себе знаменательный, – записал в дневнике Десятников, – ибо основной состав участников вечера – это дети победивших в Великой Отечественной войне. В обществе всё более и более проклевываются неизбежные вопросы вызревающего национального самосознания: кто мы, какова наша история и каково наше предназначение в мире? “Без прошлого нет будущего” – такова была итоговая мысль закопёрщиков вечера...” Так возник знаменитый клуб “Родина”, и тем же летом Десятников, Барановский, архитектор и историк архитектуры М. Кудрявцев и архитектор-реставратор Л. Антропов выступили с предложением создать Общество охраны памятников истории и культуры.

А проект упомянутого выше письма “Берегите святыню нашу!” был подготовлен главным редактором “Молодой гвардии” Анатолием Никоновым, его

заместителем Валерием Ганичевым, членом редколлегии Сергеем Высоцким и Владимиром Десятниковым, после чего и был показан каждому из трёх убеждённых сединами классиков.

Как вспоминал годы спустя Валерий Ганичев: “Девяностолетний Конёнков был жизнерадостен, всё время вспоминал, что он из Смоленска, а они всегда первыми встречали врага... Обращение он подписал и со всем согласился. Корин был раздумчив, рассказал, как создавал образ Александра Невского, как Сталин называл Невского первым на параде 7 ноября 1941 года, и твёрдо сказал, что “образ великих предков” нас должен вдохновлять, а то нам то Розу Люксембург, то Клару Цеткин подсовывают. Размашисто и чётко подписал. Дольше всех сидел над письмом Леонид Максимович Леонов, подбирал, улучшал. Решительно вычеркнул обращение “Наша славная советская молодёжь”, ворчал: “Какая она славная, вот во время войны была славная, а сейчас пусть докажет”. Мы не возражали: пусть докажет... Поистине это была программа, воссоединяющая героическое прошлое и сегодняшнюю жизнь молодого поколения на фоне “молодёжной субкультуры”, утверждении о “коренном отличии молодого поколения от отцов” как якобы революционного постулата. На фоне революционаризма, развернувшейся культурной революции хунвейбинов мы соединяли руки поколений, говорили об общих духовных, исторических, культурных ценностях древней дореволюционной Руси и Советского Союза. Всё наше! А не как у псевдоисториков Покровского и Минца, втапывавших в грязь всю дореволюционную эпоху как недостойную. Конечно, это был исторический прорыв к обществу, ибо оно чутко откликнулось на обращение, распечатанное в сотнях, тысячах, письмо расклеивалось в библиотеках, клубах, перепечатывалось в книгах, местных газетах...”

И если сторонники хрущёвского “восстановления ленинских норм” воспринимали своё противостояние с новыми “черносотенцами” как продолжение гражданской войны, то поборники связи времён ощущали себя на войне Отечественной.

\* \* \*

В это же время Кожинов сдружился с молодыми немецкими аспирантами ИМЛИ – Эберхардом Дикманом, собиравшим материалы для кандидатской диссертации о Льве Николаевиче Толстом (дружба с этим немцем продлится до конца жизни Вадима Валериановича), и Эдвардом Ковальским... Дмитрий Урнов вспоминал, как он и Кожинов вместе с Эдвардом ехали в такси по Моховой, и Ковальский с диким немецким акцентом по складам прочёл название улицы на одном из домов:

– “Прос-пект Мар-кса”...

Кажется, даже приосанился – настолько приятно было ему встретить в столице СССР увековечение памяти его знаменитого соотечественника.

Но Кожинова словно взорвало.

– Вернём, всё вернём! – крикнул он прямо в лицо Ковальскому.

И в этом “всё вернём” звучала надежда на возвращение не только исторических названий.

“...Только по его рассказам, – вспоминал о Кожинове Дикман, – о прошедших бурных пятидесятых, о тех драматических событиях, среди которых можно вспомнить спасение храма Симеона Столпника (в начале Поварской) группой славянофилов, которых я застал на той же Поварской – в кулуарах ИМЛИ или ЦДЛ...”

Возможно, рассказ Кожинова был настолько живописен, что память Дикмана приписала спасение памятника Вадиму Валериановичу и его друзьям. Церковь Симеона Столпника обязана своим спасением архитектору-реставратору Леониду Ивановичу Антропову, другу и сподвижнику П. Д. Барановского. Как свидетельствует Владимир Десятников, “...последний раз служили в этой церкви, когда отпевали Ф. И. Шаляпина. Об этом мне рассказывала дочь великого артиста Ирина Фёдоровна, заказавшая здесь службу по отцу и тем навлёкшая немилость на весь причт. То, что этот памятник украшает ныне проспект, заслуга вовсе не главного архитектора Москвы и автора проспекта (имени Калинина. – С. К.) М. В. Посохина. Сохранил его для Москвы Л. И. Антропов. Когда мощный экскаватор прибыл, чтобы развалить

обезображенное перестройками древнее сооружение, то Леонид Иванович залез в ковш экскаватора и не дал работать до тех пор, пока П. Д. Барановский и Г. В. Алфёрова не принесли приказ из Министерства культуры СССР о постановке памятника на государственную охрану. . . ”

“Эти ребята, – продолжает Дикман, – мои ровесники или чуть старше меня – сидели сейчас рядом, я их слушал в конференц-залах или на секторах: Пётр Васильевич Палиевский, Сергей Георгиевич Бочаров и другие. Ученики Н. К. Гудзия или помощники-сторонники М. Бахтина. . . Многие уже были семейными людьми и железно сидели за своими книгами, хотя бывало, что гитара и дружеские кружки брали верх, откуда и мои знакомства, и московские впечатления: поездки в Ясную Поляну, тютчевские места, Подмоскovie (с посещением дочери М. О. Меньшикова), Пришвинские нивы, старая Москва и любимое – тогда почти в развалинах – Крутицкое подворье. . . ”

. . . Да многие (в том числе в моём поколении) воспринимали Кожина как убеждённого домоседа. Как часто свойство человеческой личности имеет обыкновение распространяться на восприятие всей природы! Его энергия начинала бить ключом, когда речь заходила о спасении или возрождении какого-либо памятника, о помощи талантливому человеку в издании его труда, об известии, что где-то живёт яркая и интересная личность – и с ней необходимо свести знакомство! В 1960–1970-е он поистине не знал покоя, его идеал воплощался в деянии, на которое не жалелось сил.

Он сам вспоминал, как навещал с друзьями в это время не только дочь Михаила Осиповича Меньшикова, русского националиста и острого публициста, расстрелянного на глазах у детей в 1918-м, и книги которого (с немалыми трудом доставаемые) читались, как свидетельство о наших временах: “Мы, русские, долго спали, убаюканные своим могуществом и славой, – но вот ударил один гром небесный за другим, и мы проснулись, и увидели себя в осаде – извне и изнутри. Мы видим многочисленные колонии евреев и других инородцев, постепенно захватывающих не только равноправие с нами, но и господство над нами, причём наградой за подчинение наше служит их презрение и злоба против всего русского. . . Мы не хотим чужого, но наша – Русская – земля должна быть нашей”. . . Кожин вспоминал, как он с друзьями наносил визиты Анне Васильевне Тимирёвой – фактической жене Колчака в последние два года жизни адмирала, как слушал её рассказы о тюремно-лагерной эпопее (она пережила 6 “посадок”) и, конечно, повествование о главном человеке в её жизни. . .

Посетителем её дома и внимательным слушателем её рассказов был также Владимир Максимов, потом воспроизведший её речь в романах “Карантин” и “Заглянуть в бездну” в той тональности, в какой длился её реальный рассказ – и внимали ей, боясь пропустить хоть слово, и Кожин со товарищи.

– Я увидела его, деточка, в тот год, когда мир рассыпался в прах и невзнузданные лошади метались по земле, как угорелые. Жизнь, словно линия змея, сбрасывала с себя одряхлевшую оболочку, являя человеку свой новый и легко ранимый лик. Он стоял, печальный и бледный, среди всеобщей разрухи, и не было вокруг ни одной души, способной понять его или ему помочь. Священные развалины дымились под ним, страна кабаков и пророков с надеждой обращала к нему пустые глазницы поверженных храмов, и даль клубилась меж копытами разбойничьих табунов. Он был, как новый Адам после светопреставления, сорокалетний Адам в поношенном адмиральском сюртуке с пятнышком Георгиевского крестика ниже левого плеча. У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель. На своём долгом веку я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рождён для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственность за будущее опустошённой родины. . . Я знала, что не обманусь в нём, но он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В содome всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе всё, чем щедро одарила его природа: тонкость и великодушие, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него вилось множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть живую

жизнь, облечь их в плоть и кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом, — но лишь тратил попусту время. Вызванные к действию злобой и демогогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий, сидел он в затемнённом вагоне, невидяще глядя перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забытьё любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоём... Гибли народы, источались государства, стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы, вишнёвый дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кифаристы оглашали окрест негой и сладострастием... Я не помню, я не хочу помнить, сколько это продолжалось, во мне тогда установилось время и отсчёт яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка, что за ночи, если их хватило на пятьдесят лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него... Я сдержала слово, я умерла вместе с ним в ту же минуту, как только иртышская вода сомкнулась над ним. Пятьдесят с лишним лет лагерей, тюрем и частной жизни я лишь влачила здесь своё брненное тело по воле Господа. Его предали подло и унижительно, предали за кучку золота, предали люди, которым он безоглядно доверился... Нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз, он отрекался от нашей любви, от наших клятв и обязательств — во имя моего спасения. Адам предавал свою Еву ради её же блага. Но я не могла, не имела права принять от него подобного дара. Я пошла к ним сама. Я просила одного: смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не заслуживала этого, слишком большой для меня казалась им эта честь — таким недосыгаемо высококи они его видели. Говорят, он вёл себя до конца, как подобает мужчине и офицеру. Говорят, чекистов в нём покоряло его ровное спокойствие в течение всего следствия, его благородство по отношению к своим бывшим сотрудникам, вину которых он полностью брал на себя. Говорят, единственным занятием его в перерывах между допросами была молитва... Я знала, что, идя на смерть, он улыбался. Я знала, что в роковую минуту он повернулся лицом к своей гибели. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс, но я никогда не осмеливалась думать, что он пел его для меня, для меня одной...

Как можно было не поверить — тогда — хоть одному её слову!.. До сих пор звучит у меня в ушах глуховатое ворчание Передреева: “Не думай ничего плохого о Колчаке. На его руках нет крови ни одного мирного жителя... Это была благороднейшая личность!” До сих пор в памяти исполнение Кожинным романса “Гори, гори, моя звезда...” с кратким предисловием — в память о ком это исполняется... Годы и годы понадобились Вадиму Валериановичу, чтобы увидеть адмирала в его подлинной реальности — далёкой как от советской историографической карикатуры, так и от сусального портрета Тимирёвой... А в то время он, как признавался позже сам, пришёл к отрицанию всего исторического пути России после 1917 года.

“Теперь я понимаю, — писал он десятилетия спустя, — что эта “стадия” отрицания была по-своему оправданной или даже необходимой. Ведь и сама Революция являлась, в сущности, отрицанием всей предшествующей истории России, кроме тех её событий и явлений, которые можно было истолковать как её, Революции, “подготовку” и предвестие...” Конечно, в этом признании “отрицания всего исторического пути” есть изрядная доля преувеличения. Никогда ни на йоту не повергалась в его сознании ценность Победы в Великой Отечественной войне. Более того, духовная брань, которую начали вести в 1960-е Кожин и его единомышленники, подразумевала воссоединение разорванной связи эпох. Конечно, в отрицании “всего исторического пути” громадную роль сыграли и беседы с Бахтиным, и открытия неизвестных или надолго забытых историков и писателей, сплошь и рядом трагически окончивших свою жизнь, и переосмысление многих хрестоматийных творений советской литературы... И, конечно, в этом процессе познания неизбежной была частичная идеализация тех или иных героев отечественной истории. Но избежать этого было в принципе невозможно.

И было ещё одно, что способствовало отторжению от многого в советском периоде: насильственное навязывание его ценностей, волей-неволей провоцирующее на вопрос о цене пережитого, о потерях — во многом невосполнимых — на этом пути.

Приближалось 50-летие Великой Октябрьской революции. К этой дате писались книги, ставились спектакли, снимались фильмы, готовились многочисленные собрания и конференции... И со всей неумолимостью вставал вопрос о совмещении праздника вселенского катаклизма, отменившего в своё время формы и суть всей предыдущей жизни (Кожинов не зря подчёркивал, что “революция отвергла не только *самосознание* России, но и то её *бытие*, которым и было порождено это самосознание”), с новой тенденцией восстановления исторической памяти. В сознании многих и многих – от членов правительства до рядовых граждан – эти понятия либо не совмещались вообще, либо совмещались частично, более на уровне общих слов...

А тенденция “восстановления ленинских норм” набирала ход. И одним из её проявлений стал выход в свет нового романа Юрия Трифонова “Отблеск костра”.

“На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опалает жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костёр, и каждый из нас бросает в него свой хворост... Мне было одиннадцать лет, когда ночью приехали люди в военном и на той же даче, где мы запускали змеев, арестовали отца и увезли. Мы с сестрой спали, отец не захотел будить нас. Так мы и не попрощались. Это было в ночь на 22 июня 1937 года. Прошло много лет, прежде чем я по-настоящему понял, кем был мой отец и что он делал во время революции, и прошло ещё много лет, прежде чем я смог сказать об этом вслух. Нет, я не имею в виду невинность отца, в которую верил всегда с мальчишеских лет. Я имею в виду работу отца для революции, его роль в создании Красной гвардии и Красной армии, в событиях гражданской войны... Отец стоял близко к огню. Он был одним из тех, кто раздувал пламя: неустанным работником, кочегаром революции, одним из истопников этой гигантской топки...”

Передреев менялся в лице, когда слышал что-либо доброе (не говоря уже о восторженном!) о подобных героях гражданской, павших двадцать лет спустя на “тихой гражданской” (которая тогда, правда, так не называлась): “Тякие сотнями за собой других уводили!”

Кожинов потом не раз вспоминал, в том числе в печати, какое впечатление на него произвели отдельные пассажи из этого романа. В частности, процитированные документы, составленные Валентином Трифоновым. Один – от 10 июня 1919 года: “Нужно твёрдо и определённо отказаться от политики репрессий по отношению к казакам вообще. Это не должно помешать, однако, строгому, беспощадному преследованию в судебном порядке всех контрреволюционеров” и второй, написанный год спустя: “Те станицы, хутора и населённые пункты, которые оказывают содействие или дают приют изменникам и предателям дела трудящихся, будут... беспощадно разоряться... до полного их уничтожения...” Понятно, что ни о каком “судебном порядке” речи уже не шло. Но самым интересным здесь был комментарий писателя, полностью оправдывавшего (даже, скорее, возвеличивавшего) деяния своего отца:

“Суровый документ, столь отличный от доклада... написанного год назад, говорит не о том, что изменилась точка зрения, а о том, что изменилось время. Поистине, те, кто теперь подняли оружие против Советской власти, были не заблуждающимися, а отъявленными врагами...”

Возникал вполне логичный вопрос: если в 1920 году Валентин Трифонов не останавливался перед уничтожением целых станиц и хуторов, то не наступило ли его почти через два десятка лет справедливое возмездие?

“Страна жила так, – вспоминал Кожинов, – как будто она в самом деле была “родом из Октября”, а её молодёжь – “дети XX съезда”. И это вело – и привело – к самому тяжкому итогу...” Другое дело, что формировалось целое направление в общественной жизни, представители которого слишком хорошо чувствовали, к чему это может привести, и всеми силами старались этого “итога” не допустить.

По существу, ко второй половине 1960-х оформились два направления, каждое из которых было представлено своей группой: группой *революционеров* и группой *реставраторов*.

Сам процесс “исторической реставрации” требовал особой ответственности (в отличие от любого “революционерства”). И сравнительно краткий период “отрицания” сменился другим, когда наш герой не только со всем жаром

души и научной добросовестностью погрузился в изучение века XIX-го, но и стал “более трезво и взвешенно судить об истории Революции”. И этот период пришёлся как раз на начало работы Кожина в восстановленном Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.

\* \* \*

Ещё за год до его официального учреждения в кельях бывшего Высокопетровского монастыря на Петровке, 28 (где располагался Литературный музей) собирались молодые историки и филологи, обсуждавшие проект будущего общества. Среди них был лишь один представитель старшего поколения – уже знакомый нам Олег Васильевич Волков, потомственный дворянин, многолетний сталинский зек, высокий красивый седобородый старик (таким я его помню уже в 1980-е, но, думаю, так же воспринимали его собеседники в 1960-х). И он тогда слегка охлаждал вдохновенный пыл собравшейся молодёжи вопросом, в котором сказывался горький исторический и личный опыт: “А не окажемся ли мы все, господа, на Соловках?”

Время, впрочем, было уже иное. И властно требовало иного отношения к отечественной истории.

“Важно знать, – говорил впоследствии Кожин, – как и почему удалось официально утвердить это общество. В 1965 году возникли конфликты на советско-китайской границе, и поначалу имели место отказы противостоять нарушителям: ведь они, мол, такие же коммунисты, как мы. В этих обстоятельствах Главное политическое управление Советской армии поддержало идею создания ВООПИК”.

С другой стороны, как уже упоминалось, активнейшие организационные и дипломатические усилия прилагали Илья Глазунов, Леонид Антропов, Пётр Барановский, Михаил Кудрявцев, Владимир Десятников.

Из дневника Владимира Десятникова:

“3 октября 1964 г. В “Литературной газете” опубликована статья Л. М. Леонова “Прошу слова”. Поводом послужил опубликованный проект новой русской орфографии. “Признаться, малость невдомёк: к чему она, уже не первая на памяти моего поколения, реформа правописания? – гневно и саркастически вопрошает Леонов. – ...Нельзя столь часто совершенствовать одно и то же вострым ножом по живому телу. Надо по-божески, братцы, дайте и передохнуть немножко... Жаль, что проект не сопровождён конкретными подписями авторов. Анонимность орфографической комиссии и некоторые несомненные шедевры её работы, вроде заец, мыш, ноч, дают мне основание предположить, что к обсуждению этого общенационального дела не был приглашён ни один литератор – поэт или прозаик, – имеющий по самому призванию... повседневное профессиональное соприкосновение с разными речевыми таинствами в русском языке, какими, к слову, изобилует богатейшая крестьянская речь... Это уже не первый заход по русскому правописанию... последний, или имеет в замысле ещё что-нибудь?.. Простите, бывают такие поводы, когда на площади в рельсу бьют”.

Видя, как у двух “нянек” – Министерства культуры СССР и Госстроя СССР – гибнет в небрежении наше национальное культурно-историческое наследие, я обратился к Е. А. Фурцевой и с письменным заявлением о назревшей необходимости перестройки органов охраны памятников и привлечении к этому широкой общественности путём создания Добровольного общества охраны памятников культуры. В моём заявлении нашли отражение все те мысли, которые П. Д. Барановский, М. П. Кудрявцев, Л. И. Антропов и я изложили во время недавнего нашего посещения Идеологического отдела ЦК по РСФСР. Как оказалось, Е. А. Фурцева была проинформирована о нашем визите в ЦК и приняла моё заявление с явным раздражением.

– Кто дал вам право без ведома министра и парткома обращаться в ЦК? Вы что, не знаете субординации? И потом, что это за Общество вы придумали?

– Во всех союзных республиках есть Общества охраны памятников национальной культуры, только в России нет.

– Ну, это не вашего ума дело.

– Я думаю, что это дело всех нас вместе взятых – русских людей.

Ничего не ответив, Фурцева резко повернулась на тонких каблучках-шпильках и направилась к выходу. Разговора явно не получилось, и теперь надо ждать оргвыводов.

28 июля 1965 г. Из всех общественных движений патриотического толка последних лет в России борьба за создание Общества охраны памятников получила наиболее яркую национальную окраску. Об этом свидетельствуют не сотни, а десятки тысяч выступлений на митингах, в печати, по радио и телевидению русских людей всех профессий и званий, включая самых именитых представителей науки. Среди них нет только членов Президиума ЦК КПСС и правительства. Для того чтобы предотвратить стихийное развитие общественного движения, чреватого “самыми непредсказуемыми последствиями”, правительство России, безусловно, с санкции ЦК, утвердило Оргкомитет по созданию Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры. В составе Оргкомитета – большинство тех, с кем я все эти годы сотрудничал на общественном поприще, начиная с маститых П. Д Барановского, Л. М. Леонова и кончая одним из главных закоренелых этого святого дела Ильей Глазуновым. Чиновников, во главе с зампредсовмина России В. И. Кочемасовым, не заявивших о себе как о борцах за национальное возрождение, явное меньшинство в Оргкомитете, но вся власть в их руках. Они и будут вершить судьбу Общества”.

В это же время Десятников предпринимает усилия по изданию сборника “Памятники Отечества” (работает над ним в течение года), куда собирается включить статью Василия Пескова “Отечество”, статьи Дмитрия Лихачёва и Олега Волкова, а также только-только опубликованный в “Новом мире” рассказ Солженицына “Захар Калита” о смотрителе Куликова поля.

“9 марта 1966 г. Работа над сборником “Памятники Отечества” в издательстве “Просвещение” временно (?) приостановлена. Причём мне объявлен в Научно-методическом совете по охране памятников (НМС) строгий выговор. Подбор материалов для сборника признан тенденциозным, “не отвечающим насущным задачам использования культурно-исторического наследия в коммунистическом воспитании трудящихся”. Кроме всего прочего, мне поставлено в вину, что я привлекал авторов для сборника якобы от имени НМС. Если я не докажу, что это было вовсе не так, то договор со мной будет расторгнут. Д. С. Лихачёв, спасая сборник, в числе первых пришёл мне на выручку, прислав официальное заявление по этому поводу... Самое печальное в этой истории, что не только мне как составителю, но и всем участникам сборника приходится хитрить и изворачиваться, как будто мы вступили в коллективный сговор против Отечества. Нетрудно догадаться, что в связи с громким процессом над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем по всем издательствам разослано Директивное письмо о повышении политической бдительности, потому наш сборник и притормозили. За решётку бросили двух писателей-диссидентов, и это сразу стало известно всему миру. А сколько русских православных священников без суда и следствия законопатули по лагерям и тюрьмам, и при этом – полная тишина. Прав Илья Глазунов, называя именно священников, а не писателей героями нашего времени”...

... В год 50-летия Октября Кожин опубликует в “Комсомольской правде” статью “Между Бульварным и Садовым”. Он писал об уникальной части Москвы, что была “настоящим средоточием духовной жизни России” (Остоженка, Пречистенка, Поварская, Никитская, Спиридоньевка были исхожены им вдоль и поперёк – и старые имена этих улиц он назвал в газете), о неповторимости мира переулков, сосредоточенных вокруг Арбата.

“...После Кремля это, пожалуй, самый “важный” и дорогой для нас район Москвы. Это подлинная колыбель русской культуры. Нельзя думать о её уничтожении без боли и горечи. И необходимо понять, что немыслимо сохранить главную ценность этого архитектурного мира, оставляя лишь “отдельные особо выдающиеся памятники”. Сохранять надо именно ансамбли, а не отдельные сооружения, ибо нередко старый город полон очарования, хотя в нём всего несколько зданий, представляющих интерес с точки зрения архитектуры...”

Тогда же в “Дне поэзии” (составителем этого выпуска был Станислав Куняев) Кожин ответил на анкету, посвящённую “гражданственности” в современной поэзии. Позже он озаглавил своё выступление “О ложной “гражданственности”, отнеся к таковой стихотворение весьма известного тогда стихотворца Юрия Панкратова, воспевавшего разрушение Собачьей площадки

ради возведения проспекта имени Калинина, тут же названного москвичами “вставной челюстью Москвы”.

Ради этой “челюсти” были снесены домики, где Пушкин впервые читал “Бориса Годунова”, где жил Алексей Степанович Хомяков и часто бывал Гоголь, где жил Сергей Тимофеевич Аксаков, где провёл свою юность Михаил Юрьевич Лермонтов (“дом, где он жил, чудом ещё стоит... у самой границы разрушений”, — напоминал Вадим Валерианович).

“Мир арбатских переулков, — писал он, — это то же самое, что Латинский квартал в Париже или Нерудова улочка в Праге, это колыбель великой национальной культуры, колыбель, которая не может не быть заповедной...” И сослался в конце на стихотворение, выразившее, по его словам, “подлинно гражданское понимание сути дела”, — на стихотворение Владимира Соколова “Новоарбатская баллада”, опубликованное в “Новом мире”, стихотворение, в котором ташкентское землетрясение 1966 года находит отзвук в рукотворном “землетрясении” на Арбате, в котором взрывы и сносы разных эпох словно отражались в зеркалах друг напротив друга, и в то же время вопреки всем сносам и разрушениям воплощалась та самая связь времён, о которой напряжённо думали и искали возможности для её реализации друзья из “поэтического кружка”.

*Гляжу всё чаще я  
Средь шума будничного  
На уходящее  
С чертами будущего...  
Ташкентской пылью  
Вполне реальной  
Арбат накрыло  
Мемориальный.  
Здесь жили—были,  
Вершили подвиги,  
Швырнули бомбу  
Царизму под ноги.  
Смыт перекрёсток  
С домами этими  
Взрывной волною  
Чрез полстолетия.  
Находят кольца.  
А было — здание.  
Твои оконца  
И опоздания.  
Но вот! У зданий  
Арбата нового,  
Вблизи блистаний  
Кольца Садового,  
Пройдя сквозь сырость  
Древесной оголи,  
Остановилась  
Карета Гоголя.  
Он спрыгнул, пряча  
Себя в крылатку,  
На ту — Собачью —  
Прошёл площадку.*

*Кто сел в карету?  
Кто автодверцей  
В минуту эту  
Ударил с сердцем?  
Кто, дав спасибо,  
А не мерси,  
Расстался с нею —  
Уже в такси!*



*Ведь вот, послушай,  
Какое дело:  
Волной воздушной  
И стих задело.  
Где зона слома  
И зона сноса,  
Застряло слово  
Полувопроса.  
Полумашина,  
Полукарета  
Умчала отзвук  
Полуответа...*

\* \* \*

К этому времени Соколов успел соединить свою жизнь и расстаться с Эльмирой Славогородской, которая пережила с поэтом очень нелёгкие годы своей жизни и которой он посвятил несколько поэтических шедевров — их с упоением читали друг другу его друзья.

*Нет сил никаких улыбаться,  
Как раньше с тобой говорить.  
На доброе слово сдаваться,  
Недоброе слово хулить.*

*Я всё тебе отдал. И тело,  
И душу — до крайнего дня...  
Послушай, куда же ты дела,  
Куда же ты дела меня?*

*На горькие листья рябины,  
Шурша, налетает закат...  
И тучи на нас, как руины  
Воздушного замка, летят.*

Их расставанию было посвящено и знаменитое стихотворение “Венок”:

*Вот мы с тобой и развенчаны.  
Время писать о любви.  
Русая девочка, женщина...  
Плакали те соловьи.*

*Пахнет водою на острове  
Возле одной из церквей.  
Там не признал этой росстани  
Юный один соловей.*

*Слышу, как в зарослях, в зарослях,  
Не забывив ничего,  
Как удивительно в паузах  
Воздух поёт за него.*

*Как он ликует божественно  
Там, где у розовых верб  
Тень твоя, милая женщина,  
Нежно идёт на ущерб.*

В это же время Владимир Соколов и Анатолий Передреев обменялись стихотворными посланиями, устраивая своеобразную переключку с поэтами

пушкинской пляяды. Впрочем, первое стихотворение Соколов посвятил другу ещё в 1963 году.

*Попросил я у Господа Бога,  
У созданья, которого нет,  
Чтобы стал я ни мало ни много,  
А мальчишкой семнадцати лет.*

*Так и вышло. Под сенью небесной,  
Лёгкий шарф отмахнув на плечо,  
Я иду, молодой и безвестный,  
Мне и холодно, и горячо.*

*Ещё в жизни неясен мой выдел.  
Всё дождями лучей залито.  
Ещё я никого не обидел,  
И меня не обидел никто.*

*Но ликуют вчерашние травы,  
Но гремит позапрошлый громок...  
Мне пришкольной не надобно славы,  
Я и с этой не столь одинок.*

*Оттого-то, как мальчик, без спроса  
Я метнулся в мой нынешний мир,  
Где пирует пора сенокоса  
При избытке ромашек и вил.*

*Жить бы мне, на ромашках гадая,  
Зная дело, сжимая перо,  
До свободной минуты, когда я  
В землю тоже войду, как в метро.*

А через два года он посвятит Передрееву “Слушай, Толя, прочти мне скорее стихи // О твоём возвращенье в родительский дом...”, и здесь же пообещает выпить “свой ковш до конца... за твою, соловей, сумасшедшую жизнь”... Жизнь “соловья” действительно, была “сумасшедшая” – на перекладных между Чечнёй и Россией, между Грозным и Москвой – и даже, когда поэт застывал на одном месте на какое-то (непродолжительное) время, было ощущение постоянного срыва, полёта в следующее мгновение, не говоря уже об отсутствии какого-либо покоя внутри... Возможно, этот покой наступал во время поэтической работы, при которой никаких свидетелей, естественно, не было...

Передреев ответил стихотворением, где слышалась очевидная отсылка к соколовским строчкам первого посвящения:

*В атмосфере знакомого круга,  
Где шумят об успехе своём,  
Мы случайно заметим друг друга,  
Не случайно сойдёмся вдвоём.*

*В суматохе имён и фамилий  
Мы посмотрим друг другу в глаза...  
Хорошо,  
что в сегодняшнем мире  
Среднерусская есть полоса.*

*Хорошо,  
удивительно,  
славно,*

*Что тебе вспоминается тут,  
Как цветут лопухи в Лихославле,  
Как деревья спокойно растут.*

*Не напрасно мы ищем союза,  
Не напрасно проходят года...  
Пусть же  
девочка русая –  
муза  
Не изменит  
тебе  
никогда.*

*Да шумят тебе листья и травы,  
Да хранят тебя  
Пушкин  
и Блок,  
И не надо другой тебе славы,  
Ты и с этой не столь одиночек.*

И не сможет смутить здесь кажущаяся лишней поверхностному взгляду “лесенка” (тут же вспоминается обращение к Передрееву Асеева: “Толя, перебейте ноги ритму!”): плавный набранный ритм в стихотворении перебивается на вдохе-выдохе, когда каждое выделенное слово произносится с особенным нажимом, обращая внимание на смысловую глубину произносимого в это мгновение.

*Да хранят тебя  
Пушкин  
и Блок...*

Любимые на всю жизнь поэты Соколова, по которым он настраивал свою лиру.

Пушкин и для Передреева Пушкин. “Пушкину следует ходить на поклонение, словно в Мекку”, – запомнила его слова заведовавшая в те годы редакцией журнала “Знамя” Софья Гладышева... На экзаменах в Литературном институте Передреева взорвал вопрос экзаменатора: “Что хотел сказать Пушкин в стихотворении “Пророк”?” Экзамен вылился в ожесточённую полемику поэта с преподавателем, в результате чего Анатолий покинул Литинститут без диплома. По горячим следам он начал тогда же писать статью “Читая русских поэтов”, ставшую причиной нешуточного скандала в литературном сообществе. “Знаете ли вы, что хотел сказать Пушкин в стихотворении “Пророк”?..

Я вовсе не призываю застыть в священном изумлении перед “Пророком” Пушкина. Я только против такого “хозяйственного” отношения к стихам. Против школярского подхода к овладению великим поэтическим наследством, когда даже в сугубо литературном институте вместо того, чтобы приобщить поколение молодёжи к прекрасному, твердят: “В этом стихотворении Пушкин утверждает...”, “Лермонтов в этом стихотворении выразил...”, “Некрасов изобразил...”

... Прошло почти полтора века с тех пор, как Пушкин спросил:

*...Сколько их? Куда их гонят?  
Что так жалобно поют?..*

И до сих пор мы можем только повторять это вслед за ним с той или иной степенью проникновенности в его смятенность и глубину...”

Дмитрий Урнов запомнил и описал выразительную сцену его встречи с Передреевым в ЦДЛ в то время, когда Анатолий стал засиживаться там допоздна за горячительными напитками – лишь бы оттянуть срок возвращения домой: “Не помню, в связи с чем, по ходу нашей с ним задушевной беседы в Доме литераторов я протараторил: “Мчатся-тучи-вьются-тучи”, – так мы чиркали ещё в школе. Толя вдруг озверел: “Ты что?! Не понимаешь, что это

значит?” — и с есенинской яростью стал произносить: “Ммммча-а-тся ту-у-учи... Вью-ются ту-чи...” Стыдно мне стало...”

А в XX веке не было для него выше и любимее Есенина. Софья Гладышева вспоминала его слова:

— После Есенина у нас не было настоящих поэтов. Немного к нему приближается лишь Соколов.

У Анатолия была уже, по сути, написана новая книга стихов, которую он жадно “проверял” на своих друзьях. Это было, поистине, “золотое” время его поэтической работы. Писалось не очень много, но каждое стихотворение было, что называется, на вес золота. “Окраина” (потом вознесённая Кожин-вым), “Любовь на окраине”, “Когда с плотины падает река...”, “Бегут над полем чистым облака...”, “Московские строфы”, “Разбуди эту землю, весна...”, “Наедине с печальной елью...”, “Равнина”, горчайшее и одновременно исполненное неколебимой надежды “Воспоминание о селе”.

Изменилась и его личная жизнь. Он нашёл себе спутницу — чеченку Шему Альтемирову, дочь грозненского прокурора, работавшую официанткой в поезде “Москва-Грозный”, где он с ней и познакомился.

*Среди всех в чём-нибудь виноватых  
Ты всегда откровенней других...  
Но зрачки твоих глаз диких  
Для меня непонятней чужих.*

*По каким они светят законам,  
То слезами, то счастьем блестя?  
Почему в окруженьи знакомом  
Ты одна среди всех, как дитя?*

*И зачем я сегодня всё время,  
Окружённый знакомой толпой,  
Объяснялся словами со всеми,  
А молчанием — только с тобой?..*

*Но когда я тебя обнимаю,  
Как тебя лишь умею обнять,  
В этой жизни я всё понимаю,  
Всё, чего невозможно понять!*

Сведшая знакомство с Передреевым в редакции, Гладышева однажды к своему удивлению услышала от него:

— Соня! Почему никогда не пригласишь к себе домой в гости? Не познакомишь с родными, друзьями?

Это было неожиданно для Софьи Александровны — у неё был свой круг друзей и знакомых... Тем не менее, она приветливо ответила:

— Да, пожалуйста, Толя, приходи хоть сегодня. Просто не думаю, что тебе это интересно.

Передреев пришёл не один.

“Прошло всего несколько дней, и в мою небольшую узкую, но с высоким потолком комнату, также называемую сурдокамерой (Передреев потом смеялся: “Хорошо бы повернуть её на девяносто градусов”), входят он с широко улыбающейся Шемой и незнакомый (подумалось: наверное, тоже поэт) худощавый, выше среднего роста, скромно одетый молодой человек в очках, придававших ему весьма серьёзный вид.

— Вадим Кожин, — коротко представил его Передреев, полагая, что это имя не нуждается в каких-либо пояснениях.

Гость держался очень скромно, просто. В разговоре с Передреевым, — а они, пока женщины занимались хозяйством, обсуждали фетовскую строку “тебя любить, обнять и плакать над тобой”, — Кожин был немногословен, сдержан.

Когда сели за стол и наполнили рюмки, Передреев деликатно предложил тост за хозяйку дома (чего он никогда не забывал сделать и при последующих посещениях), сказал что-то одобрителное об убранстве стола. У меня, обычно

не находчивой, неожиданно вырвалось (подействовала, наверное, поэтическая аура гостей):

*Тьфу, прозаические бредни,  
Фламандской школы пёстрый сор!*

И тут же в глазах Толиного спутника вспыхнул огонёк, его лицо осветилось особенной, широкой и открытой, сугубо кожиновской улыбкой. Он мгновенно поставил на стол уже поднятую было рюмку, стремительно вскочил со стула, устремился ко мне и дружески обнял. При этом он не произнёс ни слова, очевидно, полагая: пушкинские строки, словно пароль к сердцу, сами по себе открывают путь к дружескому расположению...

С тех пор Передреев вместе с Кожинным, а иногда с целой ватагой своих знакомых — тут уж инициатором был Кожин — нет-нет да и наведывались ко мне. Засиживались порою за полночь, читали стихи, обсуждали их, горячо спорили. Вино пили редко, чаще довольствовались чаем...

И далее Гладышева вспоминает, как оба друга (это было именно в 1967-м!) явились к ней в редакцию, спросили, не может ли она отпроситься с работы... Софья Александровна отпросилась, и они отправились к ней домой на пойманном Кожинным «газике». А по приезде Передреев заявил:

— Свои новые стихи я посвятил Вадиму и хотел бы сейчас прочитать их вам.

Тут даже Кожин вздрогнул от неожиданности.

Передреев начал читать... “Он читал... негромко, с расстановкой произнося каждое слово, словно подчёркивая его особое звучание”:

*Как эта ночь пуста, куда ни денешься,  
Как город этот ночью пуст и глух...  
Нам остаётся, друг мой, только песня —  
Ещё не всё потеряно, мой друг!*

*Настрой же струны на своей гитаре,  
Настрой же струны на старинный лад,  
В котором всё в цветенье и в разгаре:  
“Сияла ночь, луной был полон сад”.*

*И не смотри, что я не подпеваю,  
Что я лицо ладонями закрыл,  
Я ничего, мой друг, не забываю,  
Я помню всё, что ты не позабыл.*

*Всё, что такой отмечено судьбою  
И так звучит — на сердце и на слух, —  
Что нам всего не перепеть с тобою,  
Ещё не всё потеряно, мой друг!*

*Ещё струна натянута до боли,  
Ещё душе так непомерно жаль  
Той красоты, рождённой в чистом поле,  
Печали той, которой дышит даль...*

*И дорогая русская дорога  
Ещё слышна — не надо даже слов,  
Чтоб разобрать издалека-далёка  
Знакомый звон забытых бубенцов.*

У Кожина выступили слёзы на глазах.

— Я не стою таких замечательных стихов, — произнёс он и обнял Анатолия. Передреев тут же обратился к Гладышевой: “Соня! Скажи честно, тебе понравились стихи?” Софья Александровна что-то пролепетала поначалу, но потом всё же произнесла: “Это, по-моему, одно из лучших твоих стихотворений”. Реакция Передреева показалась бы неожиданной для людей,

поверхностно с ним знакомых. С повлажневшими глазами, он почти прошептал с какой-то затаённой горечью:

— Ну, спасибо... Спасибо... Значит, я не зря занимаюсь этим делом!

Вадим Валерианович тут же, настроив свою любимую семиструнку, стал подбирать мелодию... И романс “Как эта ночь пуста...” вошёл в его постоянный репертуар наравне с романсами на слова Дельвига, Тютчева, Фета... Вошёл, правда, с небольшой поправкой самого Кожинова. Заключительную строку третьей строфы он пел в иной редакции: “Спасибо, друг, что ты не позабыл...”

...Когда Передреев будет готовить свою книгу избранных стихотворений (она, увы, окажется последней в его жизни) и станет датировать стихи, он, очевидно, по ошибке памяти пометит стихотворение “Как эта ночь пуста...” 1965 годом. Софья Гладышева убедительно объяснила, что написано оно было полутора годами позже.

И ещё одно краткое замечание: молодой поэт, только-только вошедший в “кожиновский круг” Эдуард Балашов, ухаживавший тогда за дочерью Софьи Александровны, прослушав это стихотворение, посоветовал автору заменить одну строку. Это благодаря Балашову в нём появилось фетовское “Сияла ночь, луной был полон сад...” — и легло абсолютно органично. Балашов острым чутьём почуял родство прочитанного с поэзией Фета.

\* \* \*

В течение многих лет 10 февраля друзья отмечали день памяти Пушкина, начиная вечер с прослушивания на проигрывателе пластинки с исполнением Фёдором Шаляпиным “Пророка”.

— Три гения: Пушкин, Римский-Корсаков, Шаляпин! Не могу простить только одного: как можно петь “горный” вместо “горний ангелов полёт”, — произносил, немного отойдя от полного растворения в музыке, Кожинов.

Передреев просил его прочесть “моё любимое стихотворение” — и Кожинов читал “Подруга дней моих суровых...”, а Анатолий повторял за ним последние строки:

*Госка, предчувствия, заботы  
Теснят твою всечасно грудь.  
То чудится тебе...*

— Представляешь? Так виделась Пушкину его няня, старая крепостная женщина...

Прочтя передреевское “любимое”, Кожинов читал своё — из “Графа Нулина”:

*Кто долго жил в глуши печальной,  
Друзья, тот верно знает сам,  
Как сильно колокольчик дальний  
Порой волнует сердце нам.  
Не друг ли едет запоздалый,  
Товарищ юности удалой?  
Уж не она ли?..*

— пауза и выдох горечи от несбыточности ожидания,

*— Боже мой!  
Но мимо, мимо звук несётся,  
Слабей, и смолкнул за горой.*

“На этих же вечерах, — послушаем снова Софью Александровну, — обсуждались и работы о Пушкине, в частности, труд академика М. П. Алексеева “Пушкин и наука его времени”, который, исследуя творчество поэта, в мельчайших деталях, вплоть до описания комнаты графини из “Пиковой дамы”, доказал знание поэтом важнейших достижений науки того времени. При этом

Кожинов то и дело с восхищением восклицал: “Гений! Одним словом, паразитальный гений!!!” И казалось, уже не хватало слов восторга при разговоре о работе С. М. Громбаха, продолжившего исследования М. П. Алексеева, но уже в области медицины. Тут Кожинов, часто читавший стихи “Не дай мне Бог сойти с ума”, особенно воспринял слова о точном, с медицинской точки зрения, изображении Пушкиным различных случаев потери рассудка: Германом, Марией Кочубей, Мельником, старым Дубровским. А сколько пылких слов было высказано при сравнении Пушкина и Лермонтова! Стихи, посвящённые женщинам: “Я Вас любил, любовью ещё, быть может...” и “Я не унижусь пред тобою...”, “Бородино”, где бой изображён в прошедшем времени, как воспоминания очевидца, и “Полтава”, где поэт развёртывает сражение на наших глазах, вовлекая в эту битву и нас. И многие другие стихи “подверглись их суду” неизменно в пользу Пушкина...

В этих беседах и начала складываться у Кожинова книга “Как пишут стихи”, написанная примерно за год. Передреев рассказывает ему, как он читал Евтушенко стихотворение Фета “Чудная картина, // Как ты мне родна!...” — и услышал в ответ: “Удивительно плохие стихи!”... Начинается жаркое обсуждение Фета, читаются одно его стихотворение за другим... И Передреев, и Кожинов — каждый по-своему — пишут о фетовском поэтическом жесте, его интонации... Анатолий Константинович рассказывает Вадиму Валериановичу о своём “бодании” на пушкинском поле с преподавателем Литинститута, — и Кожинов, подхватив мысль Передреева, по-своему насыщает и “аранжирует” её: “И вот, читая гениальные строфы о Петербурге во вступлении к пушкинскому “Медному всаднику”, мы уже, несколько скучая, думаем о том, что здесь, мол, “создана яркая картина великого города”, а с другой стороны, поэт использует “приёмы звукописи” (например, “шипенье пенных бокалов”). И уже нелегко отрешиться от этих вялых соображений и просто услышать в собственном взволнованном голосе потрясающую мощь, красоту и радость, услышать, как словно целый оркестр звучит в твоей груди:

*...В их стройно зыблемом строю,  
Лоскутья сих знамён победных,  
Сиянье шапок этих медных,  
Насквозь простреленных в бою! —*

и уже нет никакой “картины Петербурга” и “звукописи”, а в самом тебе, в твоём собственном творческом воображении созидается, живёт, влюбляет в себя неповторимый пушкинский Петербург, прекраснее которого нет ничего на свете...

...Пройдёт ещё несколько лет, и Кожинов напишет в одной из своих многострадальных книг: “...Многолетний опыт общения с людьми, пишущими стихи, безусловно, убедил меня, что любой созревший и несущий на себе печать подлинности поэт, в какой бы манере он ни творил, превосходно знает классическую поэзию и изо дня в день так или иначе обращается к ней. И наоборот, люди, даже очень одарённые, но пока (или вообще) не нашедшие себя в поэзии, как правило, ещё не вжились в классику...”

Этот, 1967-й год принёс друзьям ещё один бесценный подарок. В издательстве “Советский писатель” вышла первая московская книга стихов Николая Рубцова “Звезда полей”, ставшая настоящей радостью для многих и многих ценителей подлинной поэзии. На неё тут же откликнулись в печати Станислав Куняев (“Словами простыми и точными”) и Анатолий Передреев (“Мир, отражённый в душе”). Передреев, в частности, писал:

“В книге, если только она производное души поэта, а не просто сгустки слуховой и зрительной информации, должна стоять тишина, подобная тишине глубокой чистой реки, в которой отражается окрестный мир. Вот этой, если можно так сказать, “поэтической тишиной” выгодно отличается от многих сегодняшних сборников книжка Николая Рубцова...”

Из “поэтических предков” Рубцова я называл Тютчева и Есенина. Среди современников он, безусловно, опирается на опыт Александра Яшина с его глубиной, серьёзностью творчества, основанного на коренном языке...

Высокая и светлая звезда освещает большинство стихотворений этой книги, оправдывая превосходное, на мой взгляд, название её”.

Кожин постоянно упоминал имя Рубцова в устных и печатных разговорах о современной поэзии как пример подлинного творчества, что в родстве с русской классикой. . . Потом, правда, многие недоумевали, а то и злорадствовали: как же так, при жизни поэта не написать о нём специальной статьи! А он как будто чувствовал, что сиюминутный его отклик не даст читателю необходимых средств проникновения в глубину этого удивительного поэтического мира. . . Он как бы взял паузу в разговоре о современной поэзии.

4 декабря 1967 года он писал очередное письмо супругам Бахтиным:

“Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Давно не писал вам – какой-то у меня “кризис”, очень трудно братья за перо. . . Но вот всё же решаюсь написать.

Надеюсь, что сейчас у вас всё более или менее в порядке. Очень хотелось бы побывать у вас, но не знаю, насколько вы сейчас способны лицезреть столь резвого гостя. . .

“Общекультурная” обстановка в Москве крайне, небывало смутная, ничего не разберёшь, какие-то странные копошения многочисленных стремлений и идеи. Такого ещё при мне не было. Даже пожилые люди сбиты с толку, теряют прежние свои позиции. Ну, может быть, что-то и выкристаллизуется из этого мутного раствора. . .

У меня самого всё тоже как-то смутно. Давно хочу выйти за пределы своих “национальных” идеалов, но ещё не знаю, куда. . .

Сильно переделал свою статью о Пушкинской эпохе, которую вы читали; даже сделал из неё **две!** Одна из них – о Гоголе и Чаадаеве, где, в частности, выясняется, в связи с вашими идеями, амбивалентность понятий “**Мёртвые души**” и “**Некрополис**” (город, из которого пишет письма Чаадаев). Что вы об этом думаете? Об этих смертях, чреватых рождением?

В последнее время очень увлекаюсь Н. Ф. Фёдоровым.

Палиевский подружился с внуком П. А. Флоренского и узнал массу исключительно интересного. Мы вводим его работы (в т. ч. неопубликованные) в нашу “Эстетику славянофилов”.

Впрочем, я даже не знаю, как вы относитесь к Флоренскому.

Собираемся устроить курс лекций (в Политехнич. музее) “Русские мыслители” – от Илариона до того же Флоренского. Сейчас пишу для Литэнциклопедии статью “В. В. Розанов”. Постараюсь “пробить” нечто “объективное”. И обязательно с портретом!

Видите, как расхвастался. Пора остановиться. . .

Примите от нас самые горячие пожелания здоровья и бодрости.

Ваш Вадим”.

Письмо насыщенное, с обилием информации, многие положения которого нуждаются в объяснении и комментариях. Но об этом – в следующий раз.

*(Продолжение следует)*